

Судьи Времени

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов
Судьи Времени

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Судьи Времени / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Восемь лет Джеймс Кроуфорд, историк катастроф, ведёт учёт последних минут двухсот шести человек, погибших на пароме «Меридиан», — и не решается обнять единственную выжившую, свою дочь Аву. Она собирается уехать учиться, а он в четыре утра узнаёт: горит Лучевоград — город, который тридцать восемь лет назад уцелел вопреки арифметике. На дымящейся улице Джеймс видит невозможное: сквозь горящий квартал проступает целый, тёмный, спокойный город. Древние Судьи выносят человечеству приговор и отзывают все дарованные веками милости — от новой к старой, вспять по времени, к последней и самой личной. У Джеймса есть право защищать. У Судей есть Завет. У Авы — рейс в шесть сорок семь утра.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Аномальные милости	5
Часть вторая. Шов	9
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Эдуард Сероусов

Судьи Времени

Часть первая. Аномальные милости

Джеймс Кроуфорд знал время гибели двухсот шести человек с точностью до минуты — и не сумел бы, не заглянув в календарь, назвать день, когда родилась его дочь.

Он вписывал это время в блокнот, когда Ава встала в дверях. Шесть сорок семь утра. Паром «Меридиан», средний пролёт опоры, восемь лет назад. Он выводил цифры медленно, вдавливая перо, будто от нажима они делались правдивее, — и всё равно вздрогнул, услышав за спиной:

— Ты опять про него.

Она привалилась плечом к косяку, наполовину в комнате, наполовину в коридоре — как стояла всегда, сколько он её помнил, будто дверной проём был единственным местом на свете, где ей позволено находиться. На ней была материнская куртка, широкая в плечах, с рукавами, которые Ава давно перестала подворачивать. Ей было шестнадцать, и она носила чужую одежду так, как носят броню, из которой ещё не выросли, но уже не снимают.

Комната вокруг Джеймса была музеем чужих концов. По стенам — гравюры и снимки: Лиссабон, кренящийся в море; Помпеи в слепке пепла; палубы, мосты, плотины за секунду до. Он собирал не катастрофы. Он собирал последние мгновения, когда людей ещё можно было спасти, потому что они ещё не умерли, — и уже нельзя, потому что всё это случилось давно. Безопасная любовь. Ни на что не влияющая, ни от чего не зависящая.

— Я про многих, — сказал он, не оборачиваясь. — Сегодня Лиссабон. Тысяча семьсот пятьдесят пятый. Сперва тряхнуло, потом пришла вода, потом занялся пожар. Три способа умереть до полудня. Люди бежали к морю, потому что море отступило и открыло дно, полное рыбы. Они приняли отлив за чудо и вышли собирать чудо руками.

— И тебе не тошно.

— Мне понятно. — Он повернулся. — Это разные вещи, Ава. Понятно — это когда знаешь, куда не надо было идти.

— А ты всегда знаешь, куда не надо. — Она сказала это без злости, что было хуже злости. — Только сам не двигаешься с места.

Он мог бы поспорить. Спорить было бы нормально, по-отцовски. Но он видел в её лице что-то собранное, отрепетированное в коридоре перед тем, как войти, и понял: она пришла не ссориться. Она пришла сообщить.

— Меня взяли, — сказала Ава.

Он знал, что нужно ответить. Знал даже как — с каким лицом, с какой паузой. Восемь лет он изучал, что люди делают за секунду до конца, и так и не выучил, что говорят в начале.

— Кантабрия, — произнёс он вместо этого. Он помнил, куда она подавалась; он помнил всё, кроме нужного. — Это другое полушарие. Ты смотрела, сколько там пересадок? Есть прямой рейс, но он идёт над водой почти всю дорогу, а над водой...

— Другие отцы говорят «поздравляю». — Что-то погасло в её глазах, быстро, привычно, как гасят свет в комнате, куда всё равно никто не заходит. — Ты говоришь про вероятность отказа двигателя над океаном.

— Я хотел сказать — я рад.

— Нет. Ты хотел меня посчитать. — Она оттолкнулась от косяка, но не ушла, ещё нет. — Ты помнишь, во сколько умерла мама. До минуты. Я слышала, как ты пишешь: шесть сорок семь. А мой день рождения ты гуглишь, пап. Я видела историю поиска.

Блокнот вдруг сделался очень тяжёлым. На цепочке под рубашкой лежало кольцо — Сарино; он носил его восемь лет там, где не видно, потому что надеть на палец не мог, а снять не получалось. Металл нагрелся от кожи и всё равно был холодным.

— Ава.

— Я не чудо, — сказала она тихо. — Ты смотришь на меня, как на цифру, которая не сошлась в твоей таблице. Единственная спасшаяся. Я читала твою статью, знаешь? Ту, над которой все смеялись. Я там — строка. — Она сглотнула. — Я просто та, кто вышла. Перестань на меня молиться. Молиться на живых даже хуже, чем на мёртвых.

Он открыл рот. Двести шесть латунных имён, один шов на памятнике, одна девочка, найденная сухой до пояса на всплывшем настиле. Он мог бы сказать: я не молюсь, я боюсь; я боюсь, что арифметика, которая забрала всех и оставила тебя, когда-нибудь спохватится и придёт за сдачей. Но и это было бы про цифры.

— Самолёт в четверг, — сказала Ава, не дождавшись. — В шесть сорок семь утра.

Он застыл. Она не могла знать — она была слишком мала тогда, ей не сообщали минуту, — но рейс уходил ровно в ту минуту, в которую переломился «Меридиан». Совпадение, слепое, как все совпадения. И всё же Джеймс, всю жизнь искавший в совпадениях руку, не сумел выговорить ни слова.

— Можешь не провожать, — закончила она. — Там наверняка плохая статистика.

Дверной проём опустел. Джеймс долго смотрел в него, а потом сделал единственное, что умел: опустил взгляд в блокнот и приписал под лиссабонскими мёртвыми ещё одну строку — без имени, без числа. Просто чёрточку. Учёт.

✱

Мемориал «Меридиана» стоял на набережной — двести шесть латунных полос, вмурованных в гранит веером, каждая длиной в рост человека, с именем. Двести шестая обрывалась на середине. Её отвели Саре, но фамилию высекли не до конца: резчик заболел, работу завершил другой, шрифт чуть сместился, и в стыке остался зазор в полбуквы. Джеймс всегда находил взглядом этот зазор. Ему казалось честным, что даже памятник вышел с браком.

Он приходил сюда не горевать. Он приходил считать.

Двести шесть погибших. Один выживший. В отчётах это стояло сухо: «единственная спасшаяся, пассажир восьми лет». Паром переломился на среднем пролёте в шесть сорок семь; носовая секция ушла под воду за девяносто секунд. Спасатели не спасли — подняли. И одну девочку, которую нашли на всплывшем куске настила сухой до пояса, без ссадины, глядящей в туман спокойно, будто её посадили и попросили подождать.

Джеймс узнал об этом в зале на четыреста мест, у микрофона, посреди доклада о психологии эвакуации. Ему передали записку. Он дочитал слайд до конца — он до сих пор не мог себе этого простить, эти лишние сорок секунд профессионализма, — и лишь потом понял, что говорит собравшимся, как ведут себя люди за миг до гибели, в ту минуту, когда его собственная жена уже минуту как мертва, а дочь неведомо где.

Аву он нашёл в больнице к полудню, в детском отделении, куда её посадили за неимением лучшего места. Она сидела на кушетке в чужой сухой одежде — свою забрали эксперты — и держала на коленях пластиковый стакан воды, к которому не притронулась. Она не плакала. Вокруг плакали все: сёстры, чужие родители, санитар в коридоре, — а она смотрела на дверь совершенно спокойно, тем самым взглядом, каким смотрела потом всю жизнь из дверных проёмов, и, когда вошёл Джеймс, спросила только: «А где мама?» Он знал к тому часу уже всё — минуту, пролёт, число. Он сел рядом и не решился её обнять. Она была такая целая, такая сухая посреди двухсот шести мокрых, что притронуться казалось кощунством — будто он мог смазать что-то, стереть доказательство, спугнуть цифру, которая не сошлась. Он так и не научился потом. Восемь лет он тянулся к ней через стол, через порог, через телефонную линию — и не касался.

Он написал потом статью. Не про «Меридиан» — про закономерность. Он собрал четыреста таких случаев за три века: катастрофы, в которых кто-то уцелел вопреки всей арифметике. Мальчик, окликнутый за миг до лавины голосом, хотя вокруг никого. Пилот, посадивший мёртвую машину на единственный луг в горах, «сам не знаю, как вырулил». Джеймс назвал это аномальными милостями и предположил — осторожно, между строк, — что распределение слишком стройно, чтобы быть случайным.

Рецензенты называли это горем, притворившимся статистикой. Один — тот запомнился навсегда — написал: «Автор потерял близкого и теперь ищет в таблицах Бога. Науке тут делать нечего». После этого его перестали звать на конференции с живой аудиторией. Оставили архивы. Оставили мёртвых, которые не спорят.

Рецензент был по-своему прав. Джеймс искал не Бога. Он искал, кого винить за то, что арифметика выбрала не Сару.

Сегодня он не считал полосы. Сегодня он смотрел в блокнот, где восемь лет копились четыреста милостей, и впервые видел не список, а форму. Если разложить их по времени и по месту, они не рассыпались ровным дождём, как положено случайности. Они сбивались в узлы — сгущались там, где история могла качнуться в любую сторону, — и всякий раз качалась к пощаде. Будто кто-то придерживал руку.

А в самом низу таблицы, в сноске, выписанной годы назад и забытой, стояло имя. Единственный до него, кто, кажется, заметил ту же форму. Имя было вымарано в трёх источниках из четырёх и уцелело только в архивной описи, по недосмотру.

Элиас Вэнс.

✱

Вэнс существовал ровно настолько, чтобы стало ясно: кто-то очень постарался, чтобы он не существовал.

Джеймс потратил вечер, вытягивая его из провалов. Физик, климатолог по образованию; тридцать с лишним лет назад — заметная фигура, потом резкий обрыв. Последняя открытая работа называлась осторожно: «О неслучайности исторических исходов». В уцелевшем реферате Вэнс писал не про Бога и не про удачу. Он писал, что Земля, судя по статистике её спасений, находится — он выбрал именно это слово — на пересмотре. Что кто-то вносит в ход событий правки. Не грубо, не громом с неба: минимальными касаниями в точках, где система и без того балансирует на грани, где довольно шевельнуть камешек, чтобы лавина не сошла. Вэнс называл эти точки узлами. Узлов, писал он, немного; правки экономны; оттого история и выглядит целиком нашей — своей рукой писанной, лишь кое-где подтёртой чужим ластиком.

Потом Вэнс замолчал. Не умер — свидетельства о смерти Джеймс не нашёл. Просто в один год перестал публиковаться, отвечать, числиться. В переписке, которую Джеймс раскопал, коллеги поминали его с той неловкостью, с какой говорят о сошедшем с ума: «Элиас под конец совсем уверовал в своих редакторов истории». Один добавлял: «Он говорил, что если они правят к добру, то однажды придут проверить, стоило ли. И что мы не пройдем проверку. Он говорил это спокойно, будто прочёл в расписании».

В одном файле сохранились сканы его рукописных заметок — торопливых, к концу почти нечитаемых. Последнюю связную строку Джеймс разобрал с трудом. «Они судят не по злу, — писал Вэнс. — Со злом мы бы, пожалуй, справились в их глазах. Они судят по тому, как мы обходимся с тем, что слабее и новее нас. И вот здесь, — трижды подчёркнуто, так что перо прорвало бумагу, — здесь мы обречены».

Джеймс перечитал трижды. За окном стояла ночь — обычная, с обычными огнями, — и всё же он поймал себя на том, что разглядывает город так, словно ищет в нём шов: место, где кто-то подтёр и переписал.

Экран мигнул. Оповещение — не от него, от рабочей ленты новостей.

Живой эфир. Заголовок он прочёл дважды, потому что с первого раза мозг отказался принять порядок слов.

ЛУЧЕВОГРАД. ПОЖАР НА СТАРОЙ АЭС. ГОРОД, ПЕРЕЖИВШИЙ АВАРИЮ ПОКОЛЕНИЕ НАЗАД, ГОРИТ В НЕЙ СЕЙЧАС.

Он знал Лучевоград. Все историки катастроф знали Лучевоград — как знают в лицо счастливый билет. Тридцать восемь лет назад там едва не расплавился реактор; в последнюю минуту, по причинам, которые комиссия так и не сумела внятно записать, охлаждение вернулось само, и город, вместо того чтобы стать зоной за колючей проволокой, стал памятником удаче. Одна из его, Джеймса, милостей. Строка сорок один.

На экране плескалось зарево, и диктор говорил тем голосом, каким говорят, когда сводка обгоняет понимание: «...параметры совпадают со сценарием тридцативосьмилетней давности, но, простите, нам передают... очевидцы сообщают о чём-то, чего мы пока не в силах объяснить...»

Джеймс уже стоял. Уже искал ключи.



Он набрал Аву из машины. Один гудок, второй, восьмой. Он представил, как её имя загорается на её экране и гаснет — привычно, без обиды, как свет в пустой комнате.

— Пап? — Сонно, настороженно. — Три часа ночи.

— Знаю. Прости. Я... — Он не знал, зачем позвонил. Это было не в его правилах — звонить, чтобы ничего не сообщить. — Я уезжаю на несколько дней. По работе. В Лучевоград.

Пауза. Он услышал, как она садится в постели.

— Там же горит. Я видела. Ты едешь туда, где горит.

— Я историк. Я еду посмотреть.

— Ты всю жизнь едешь смотреть. — Не зло. Устало. И вдруг тише, почти без надежды: — Ты хоть раз собираешься приехать, чтобы помочь?

Он открыл рот. Двести шесть полос, один зазор в полбуквы, одна девочка, сухая до пояса. Восемь лет он приезжал смотреть, потому что смотреть безопасно; потому что того, кто стоит за секунду до, ещё можно любить, ничем не рискуя, ведь всё уже случилось и от тебя ничего не зависит.

— Я перезвоню, когда доберусь, — сказал он и услышал, как это прозвучало.

Она не ответила. В трубке ещё секунду держалось её дыхание, потом линия опустела — не сердито, просто окончательно, как закрывают книгу, которую не станут дочитывать. Джеймс положил телефон на пустое сиденье. Восемь лет он объяснял студентам, что катастрофа — не миг удара, а длинная цепь мелких «потом»: потом посмотрю, потом починю, потом скажу. Что почти всякую гибель можно было отменить десятью шагами раньше, если бы кто-то не отложил. Он знал это лучше всех живущих — и всю дорогу на восток вёз в себе очередное «потом», не замечая его веса.

Он ехал на восток всю ночь. К рассвету небо впереди сделалось не того цвета, каким его красит солнце. А когда дорога пошла вдоль реки в предместьях Лучевограда, он на секунду — на одну лишнюю, невозможную секунду — увидел на том берегу два города сразу. Один горел. Другой стоял целый и тёмный, с погашенными на ночь окнами, спокойный, как человек, ещё не знающий, что уже мёртв.

Джеймс моргнул. Остался один город. Горящий.

Он не знал ещё, что это был первый шов. Он подумал: усталость. Он поехал дальше — к огню, впервые в жизни к огню, — и не заметил, как перестал быть тем, кто смотрит.

Часть вторая. Шов

Ближе к центру воздух сделался плотным от жара, у которого не было источника.

Джеймс бросил машину за два квартала — дальше не пускали завалы — и пошёл пешком в оранжевой мгле, против течения людей, бегущих ему навстречу. Пожарные расчёты работали вслепую: датчики показывали радиацию тридцативосьмилетней давности, ту самую, аварийную, будто прошедшие десятилетия кто-то смотал, как плёнку на катушку. У перекрёстка стояла женщина в чёрной от копоти форме координатора и рычала в рацию, которая давно не отвечала.

— Девятый этаж, восточное крыло, там человек! — кричала она поверх Джеймса, в никуда. — Кто-нибудь! Приём! Девятый этаж!

— Сеть легла, — сказал он зачем-то. — Вы кричите в мёртвую рацию.

Она обернулась. Молодое лицо, старые глаза; на скуле полоса сажи, которую она, похоже, не собиралась стирать до конца дней.

— Знаю, что мёртвая. — Она уже смотрела мимо, на дом. — Но там, на девятом, человек, а я умею только это. Вы помогать или мешать?

— Как вас...

— Осей. Мириам. — Она сунула ему бесполезную рацию, будто раздавала посты. — Держите. Если оживёт — кричите. — И, уже отворачиваясь, буднично, как о погоде: — Странная ночь, да? Огонь идёт не по ветру. И горит то, что не должно гореть. Бетон горит. — Она мотнула головой. — Ладно. Некогда философствовать, когда на девятом человек.

Она сделала полшага к подъезду — и в этот полушаг Джеймс увидел то, чего не могло быть.

За её спиной, сквозь горящий дом, проступал тот же дом — целый. Не призрак, не отблеск: вторая, полная, подробная реальность, наложенная на первую так точно, что совпадали трещины в асфальте. В горящем окне девятого этажа корчился дым. В том же окне другого, целого дома стоял, опершись о раму, человек в рабочей куртке — живой, немолодой, усталый, глядящий на рассвет, которого в этой версии города никто не собирался бояться. Две тени лежали от каждого столба. Два неба висели над головой — одно в саже, другое чистое, предутреннее. Джеймс стоял на шве между мирами и чувствовал, как жар одного проходит сквозь прохладу другого, не смешиваясь, будто кто-то наложил горящий снимок поверх спокойного и держит на просвет.

— Вы это видите? — прошептал он. — Дом. Их два.

Он оторвал взгляд от окна и увидел, что двоится не один дом — двоится вся улица. По горящему проспекту бежали люди с закопчёнными лицами, зажимая рты рукавами; сквозь них, не задевая, шли другие — те же самые, но чистые, неспешные, с сумками, с собакой на поводке, в город, которому ничто не грозило. На углу горела заправка, и сквозь её пламя ровно светила целая витрина с дежурным ночным светом. Мёртвая и живая версии одних и тех же людей делили один тротуар и не подозревали друг о друге. Только Джеймс стоял на шве и видел обе; и от этого зрения поднималась тошнота, будто каждый глаз смотрел на свою картину, а мозг не мог свести их в одну.

Но Мириам уже была в подъезде, и её не было ни в одном из миров дольше, чем на миг.

✱

Он сказал себе: газ. Утечка, галлюциноген, кислородное голодание — у страха богатый склад объяснений. Он сказал себе: не спал сутки, ехал на горе и на кофе, увидел то, что всю жизнь хотел увидеть, — свою теорию, ставшую пейзажем. Он повернул к машине. Уйти было единственно разумным.

Шов не отпускал. Он расширялся. Теперь два города расходились по всей улице: горящий Лучевоград и тёмный, целый, — и с каждым шагом Джеймса прочь целый делался отчётливее, а горящий тоньше, словно мир выбирал сторону просто по тому, куда он идёт. Джеймс остановился. Сделал шаг обратно, к огню, — и огонь налился плотностью. Ещё шаг назад — и целый город проступил ярче, и в его тишине запели ранние птицы, которых в горящем не было и быть не могло.

Он держал в руке чужую мёртвую рацию и понимал: это не газ. Газ не подчиняется тому, куда ты ступаешь.

А потом мир сделал то, чего миры не делают.

Он остановился.

Не Джеймс — всё остальное. Пламя застыло рваным оранжевым флагом. Пепел повис в воздухе неподвижными точками, как мошка в смоле. В подъезде осталась Мириам с занесённой над порогом ногой, не падая и не входя. Чей-то крик застрял в раскрытом рту на полпути наружу. Звук стёк отовсюду разом — так уходит вода, если выдернуть пробку, — и в наставшей тишине Джеймс слышал единственное, что ещё двигалось: собственное сердце, глупое, живое, частящее.

Он был один во всём остановленном мире. Он — и ещё кто-то за спиной, кого он почувствовал раньше, чем услышал: кожей, затылком. Кто-то, кто остановил остальных, чтобы поговорить без свидетелей.



Человек стоял посреди улицы там, где секунду назад никого не было.

На нём не лежало ни копоти, ни отсвета. Пламя вокруг застыло, но лицо оставалось без единого блика — будто свет уговорили его не касаться. Он не отбрасывал тени. Лицо было немолодое, умное, знакомое: Джеймс видел его этой ночью в трёх архивных источниках из четырёх, там, где имя не успели вымарать.

— Вэнс, — сказал Джеймс.

— Это лицо когда-то принадлежало ему. — Голос шёл отовсюду и ниоткуда, ровный, почти учтивый, и говорил «мы», даже звуча как один. — Мы носим его, потому что он единственный из вас пришёл к нам сам. Он полагал, так будет милосерднее: чтобы вас судил кто-то с человеческим лицом. — Что-то дрогнуло в этом лице, начало выражение — и не достроило его, погасло на полпути, как недописанное слово. — Мы до сих пор не уверены, что он был прав.

— Кто — «мы».

— У нас нет имени, которое ты сможешь удержать. Вэнс называл нас Судьями. Он звал так с насмешкой, а мы приняли всерьёз — это в вашем духе, называть в шутку то, что после окажется правдой. — Существо чуть склонило голову. — Слушай внимательно, Джеймс Кроуфорд, потому что от того, поймёшь ли ты устройство, зависит, сумеешь ли ты защищать. Мы читаем время как ткань. Полотно. Мы не всеильны — это первое. Мы не творим событий из ничего и не рушим по прихоти. Мы касаемся узлов — тех немногих мест, где история и так дрожит на острие, — и чуть склоняем её. Одну руку у одного вентиля. Одно слово в одно ухо. Больше почти никогда: чем крупнее касание, тем грубее шов, а мы не любим грубых швов.

— Веками, — медленно сказал Джеймс. Его собственная таблица разворачивалась в голове, строка за строкой. — Вы правили веками. К пощаде.

— К пощаде. Тираны смягчались на слове. Волны сворачивали за милю до берега. Твой Лучевоград не расплавился тридцать восемь лет назад, потому что мы придержали руку у вентиля. — Пауза. — Мы делали это не из любви. Мы делали это, чтобы узнать, каковы вы, когда вам дают второй шанс и лучшие условия. Испытательный срок. Проверка, выберете ли вы добро, когда за него не нужно платить кровью.

— И кто, — сказал Джеймс, — дал вам это право? Ставить опыт на целом виде и выводить ему отметку?

— Никто, — ответил Арбитр без заминки. — Право не дают. Его берут те, кто способен взять. Мы были древнее, терпеливее и внимательнее всех, кого встречали, — а для роли судьи больше ничего и не нужно, кроме способности привести приговор в исполнение. Тебе это не по нраву. Нам когда-то тоже было не по нраву. — Лицо Вэнса на миг сделалось совсем человеческим и тут же выправилось, как смыкается вода над брошенным камнем. — Это проходит.

Джеймс посмотрел на застывшее пламя, на повисший пепел, на Мириам, вечно не дотающую до человека на девятом.

— И мы не выбрали, — тихо сказал он.

— Срок окончен. Приговор вынесен. — Голос не изменился, и оттого стало хуже. — А это — его исполнение.

— Тогда почему вы здесь. Почему говорите со мной, если всё решено.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.